



САМСОН ГЕЛХВИДЗЕ

**ЗОЛОТОЕ РУНО
КОЛХИДЫ -
Исторический
роман**

18+

САМСОН ГЕЛХВИДЗЕ
ЗОЛОТОЕ РУНО КОЛХИДЫ
- Исторический роман

«Автор»

2026

ГЕЛХВИДЗЕ С.

**ЗОЛОТОЕ РУНО КОЛХИДЫ - Исторический роман /
С. ГЕЛХВИДЗЕ — «Автор», 2026**

ЗОЛОТОЕ РУНО КОЛХИДЫ - Историко-приключенческий роман,
который повествует о смелости, храбрости и любознательности аргонатов,
отважившихся совершить опасное путешествие в не разгаданную Колхиду, и
о том с какими трудностями они сталкиваются в своем путешествии.

© ГЕЛХВИДЗЕ С., 2026

© Автор, 2026

САМСОН ГЕЛХВИДЗЕ

ЗОЛОТОЕ РУНО КОЛХИДЫ

- Исторический роман

ЗОЛОТОЕ РУНО КОЛХИДЫ - Исторический роман

Самсон Гелхвидзе - Роман «Золотое Руно Колхиды»

ЭПИГРАФ

Строки из Руставели — о любви, добрести и судьбе.

ПРОЛОГ

Современный грузинский археолог Георгий Мтацминдели находит в горах Абхазии древний артефакт — золотую пластину с надписью древнегреческого происхождения. В ту же ночь ему снится сон, и он переносится в древний Колхиду...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ — КОЛХИДА ЗОЛОТАЯ

Глава 1 — Земля богов Описание Колхиды — ее природа, города, храмы, народ. Царь Эт на троне. Атмосфера могущества и тайны.

Глава 2 — Нана Появление главных героинь — дочерей колхидского художника и жрицы. Нана — красавица, наделённая даром видеть будущее. Ее искусство: она рисует богов и людей, и ее картины оживают.

Глава 3 — Медея Портрет царевны Медеи — умной, страстной, опасной. Ее дружба и сотрудничество с Наной. Тема магии и женской силы.

Глава 4 — Пророчество Жрец храма Гекаты предсказывает: придут чужеземцы с моря, и один из них унесёт не только руно, но и сердце колхидянки — и это изменит судьбу всей земли.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ — АРГО НА ГОРИЗОНТЕ

Глава 5 — Ясон Ясон и его команда — герои, авантюристы, поэты, воины. Каждый аргонавт — яркая личность. Путь по морю, шторма, приключения.

Глава 6 — Геракл и Орфей Два великих попутчика. Орфей играет на лире и умиротворяет волны — магия музыки как параллель магии живописи Наны.

Глава 7 — Первый берег Колхиды Аргонавты причаливают. Первая встреча — Ясон видит Нану на берегу, рисующую море. Взгляды скрещиваются.

Глава 8 — Дворец Эта Приём у короля. Напряжение, дипломатия, скрытые угрозы. Медея видит Ясона и влюбляется. Нана видит это и молчит.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ — ЗОЛОТО И КРОВЬ

Глава 9 — Испытания Ясон должен пройти три испытания Эта. Помощь Медеи — ее магия и цена ее. Нана помогает по-своему: ее картина предсказывает исход каждого испытания.

Глава 10 — Роща Ареса Добывание золотого руна. Дракон, бессонный страж. Ночь, магия, страх и доблесть.

Глава 11 — Любовь на краю пропасти Ясон и Нана — внутренняя ночь. Любовь между мирами, между двумя судьбами. Утром он должен уплыть.

Глава 12 — Предательство или жертва? Медея бежит с Ясоном. Нана остается. Ее последняя картина — корабль, идущий в море — и одна фигура на берегу.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ — РАНЫ КОЛХИДЫ

Глава 13 — После Колхиды в трауре. Царь Эт сломлен. Нана продолжает рисовать — теперь только море и корабли.

Глава 14 — Письма через море Ясон тайно отправляет гонцам письмо Нане. Переписка через годы — любовь, которая не умирает, хотя и не может соединиться.

Глава 15 — Трагедия Медеи Вести из Греции: Ясон бросил Медею. Нана узнаёт об этом и понимает — она была права, оставшись.

Глава 16 — Орфей возвращается Орфей, переживающий гибель Эвридики, возвращается в Колхиду. Он и Нана — два художника, два раненых сердца. Их дружба и разговоры о смысле красоты и потерь.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ — ВЕЧНОЕ РУНО

Глава 17 — Последние плавания Ясон, уже старик, один, без славы и без любви, снаряжает маленькое судно и плывёт обратно в Колхиду.

Глава 18 — Встреча Ясона и Наны встречаются — седые, умудрённые. Разговор двух людей, которые любили друг друга через всю жизнь и через все море.

Глава 19 — Картина Нана показывает ему картину, написанную в ту ночь много лет назад. Он узнаёт себя — молодого, сияющего. «Ты сохрани меня таким», — говорит он.

Глава 20 — Золотое руно Философский финал: золотое руно — это не шкура барана. Это любовь, красота, память и верность. Тот, кто ищет его снаружи — внешний. Тот, кто носит его в сердце — обретает Рай.

ЭПИЛОГ

Современный археолог Георгий просыпается. В руках — золотая пластина. На ней в преобразованное женское лицо. Он узнаёт его — это лицо его жены.

ЗОЛОТОЕ РУНО КОЛХИДЫ

Роман

Самсон Гелхвидзе

ЭПИГРАФ

«Тот, кто мудр, тот и в горе найдёт зерно радости, тот, кто любит — не страшится ни смерти, ни времени» Шота Руставели

ПРОЛОГ — ЗОЛОТАЯ ПЛАСТИНА

Горы Аджарии хранят тайны так же надежно, как старуха хранит молчание — упрямо, глубоко и вечно.

Георгий Мтацминдели знал это лучше, чем кто-либо другой. Тридцать восемь лет жизни, пятнадцать из них, он провёл с одной кисточкой в руке и лопаткой в другом, научил его одному простому правилу: земля никогда не отдаёт свои сокровища тем, кто торопится. Она отдаёт их лишь тем, кто умеет ждать. И слушаю.

В тот сентябрьский день 2023 года над горами было таким синим, Как бывает только осенью — пронзительно, почти больно синим, как сама вечность решила показать свой истинный цвет, хотя бы за несколько недель в году, прежде чем уся за серыми зимними облаками.

Георгий работал один. Его коллеги ещё утром спустились в посёлок — кто за провизией, кто просто от усталости. Он же остался. Что-то держало его здесь, у этого неприметного холма, поросшего ежевикой и дикой алычой, что-то неосязаемое и настойчивое, как запах дождя перед грозой.

Лопата ударила о что-то твёрдое на территории примерно полуметра.

Георгий опустился на колени. Кисточкой, осторожно, почти нежно — так, как гладить говорящего ребенка, — он начал освобождать находку от земли. Сначала показался край. Потом — уг. Потом — поверхность, и на этой поверхности что-то блеснуло так, что у него перехватило дыхание.

Золото.

Не украшение. Нет монеты. Пластина — размером с ладонь, тонкая, почти невесомая, открытая гравировка настолько тонкой работы, что, казалось, ее носил не человек, а сам ангел, вооружённый иглой густой с волосами.

Георгий поднял пластину к свету.

На ней было женское лицо. Прекрасное до боли — с явными миндалевидными глазами, необычными скулами и едва заметной улыбкой, в которой было одновременно всё: и радость, и печаль, и мудрость тысячелетий. Вокруг лица — волны, корабль с парусом, и над всем этим — баран с руном, сияющим как солнце.

А ниже — надпись. Древнегреческий. Георгий знал его достаточно хорошо, чтобы читать, и достаточно мало, чтобы читать медленно, шевеля губами, как рост:

«Нана из Колхиды. Та, что любила. Та, что осталось. Та, что победила».

Солнце клонилось к закату. Георгий сидел на краю раскопа и не мог оторвать взгляд от пластины. Пальцы его дрожали — не от холода, а от чего-то другого, почему он не мог дать название.

Он вернулся в палатку, когда уже совсем стемнело. Лёг, положив пластину рядом с собой на спальник. Долго смотрел в темноте. Потом — незаметно для себя — уснул.

И увидел сон.

Нет — не сон. Он шагнул в другое время. В другом мире. В другой жизни.

Он шагнул в Колхиду.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ — КОЛХИДА ЗОЛОТАЯ

ГЛАВА I — ЗЕМЛЯ БОГОВ

Если бы боги решили однажды сойти с Олимпа и поселиться на земле, они бы выбрали именно это место.

Колхида лежала между морем и нами, как драгоценный камень в оправе из двух стихий — там, где волны Понта Эвксинского умирали на песке с тихим вздохом усталого путника, наш наконец свой дом, снежные вершины Кавказа стояли на страже с севера, как молчаливые великаны, поставленные Зевсом охраняли этот рай от непрошенных гостей.

Но гости всё равно приходили.

Они всегда приходят туда, где есть золото.

А золота в Колхиде было много. Не только то, что лежало в сокровищницах короля Эты — тяжёлое, желтое, холодное золото слитков и монет, украшений и оружия. Было другое золото — живое. Оно текло с гор горными реками, осаждаясь в руне овечьих шкур, которые пастухи вывешивали в потоках, — и это руно потом сияло так, что видно было за морем. Оно горело в закатах казалось над Понтом, когда небо стало медным и алым, и, что сам горизонт охватил негасимым огнем. Оно засветилось в глазах колхидских женщин — тёмных, холодных, знающих что-то такое, чего не знают женщины других народов.

Город Эа, столица Колхиды, стоял на берегу реки Фасис.

Тот, кто бывал в нем впервые, тот остановился у среднего ворот и долго не мог сдвинуться с места — просто стоял и смотрел. Потому что такого не было нигде в мире.

Улицы города были вымощены белым камнем, добытым в горах, — и этот камень в солнечные дни светился так, что вызывало шуриться. Дома строились из того же камня, украшенные деревянной резьбой, такой тонкой работой, что каждый дом был сам по себе произведением искусства. Сады цвели круглый год — здесь, в благодатном климате между морем и горами, природа не знала скупости. Гранаты и инжир, виноград и алыча, самшит и лавр — все взрослые здесь щедро и охотно, как сама земля, хотела одарить своих жителей.

В центре города возвышался дворец короля Эта.

Эт был стар, но старость его была не той дряхлой, жалкой старостью, которая гнёт человека на землю. Его старость была как старость горы — последней, твёрдой, знающей цену времени. Высокий, прямой, с белой бородой и глазами цвета грозового неба, он сидел на троне из чёрного дерева, с инкрустированной слоновой костью, и смотрел на мир взглядом человека, который видел слишком много, чтобы чему-нибудь ещё удивляться.

Но тем утром, когда началась наша история, во взгляде короля было нечто новое. окореп лет.

— Птицы летят не туда, — сказал своему советнику Арсену, не отрывая глаз от окна, за которым открывался вид на море. — Вот уже три дня подряд птицы летают с севера на юг, а не с юга на север. Это знак.

— Государь, — осторожно произнес Арсен, старый жрец с лицом, похожим на печеное яблоко, — может быть, просто ветер переменился?

— Ветер переменился, — повторил Эт тихо. — Да. Ветер переменился.

Он замолчал. За окном сияло море. Где-то там, за горизонтом, в эту минуту разрезая волна с прозрачным килем, пришла посылка.

Корабль, здесь суждено было изменить всё.

Но об этом пока не знал никто. Кроме одной девушки.

Девушки по имени Нана.

ГЛАВА II — НАНА

Ее отец, Давит из рода Картлосиани, был лучшим художником Колхиды. Не просто хорошо — лучше. Таким образом, о котором говорят шёпотом, с той необычной смесью восхищения и суеверного страха, люди испытывают перед темой то, что не умеют объяснять. Говорили, что когда Давит рисовал море, в его мастерской начинало пахнуть солью. Говорили, что нарисованные им птицы по ночам оживают и улетают с холста, а к утру возвращаются обратно — чуть усталые, чуть растропанные, как будто и вправду летали куда-то далеко. Говорили разное. Давит на этих разговорах только усмехался в седую бороду и молчал. Художник никогда не должен объяснять своё искусство — это всё равно что объяснять, почему закат красив. Либо человек так думает, либо нет. Слова здесь бессильны. Нану он начал учить рисовать с того самого дня, когда она, трехлетняя, взяла уголёк из очага и нарисовала на белёной стене дома кошку — такую живую, такую точную в каждом изгибе, что Давит долго стоял перед этим рисунком, а потом сел на пол прямо там, где стоял, и заплакал. Не от горя — от счастья. Он понял: боги дали ему не просто дочь. Они дали ему продолжение. Нана росла в мастерской

так же естественно, как растёт лоза вдоль стены — не принуждённо, следуя за собственной природой, собственной тягой к свету. Краски она знала раньше, чем научилась считать. Запах льняного масла и растёртых минералов был для неё запахом дома, запахом детства, запахом самого счастья. К двенадцати годам она рисовала лучше отца отца — взрослых мужчин, которые скрипели зубами от зависти, но молчали, потому что что тут скажешь, когда перед тобой было чудо. К восемнадцати — она превзошла отца. Не по мастерству рук, нет рук — у Давиты была тверда и точна, как у хирурга. Нана превзошла его по тому, что не имеет названия ни в одном языке мира: по той силе, что живёт не в пальцах и не в глазах, а где-то глубже — там, где у человека прячется его настоящая, неистраченная душа. Когда Нана рисовала человека, она рисовала не лицо. Она рисовала судьбу. Те, кто видел ее портреты, говорили одно и то же — с небольшими вариациями, но по существу одно: «Она нарисовала меня так, Каким образом я не знал, что являюсь». Однажды она нарисовала портрет старого рыбака с рынка — сморщенного, прокопченного солнцем и ветром человека, который сам себя считал ником. В портрете он выглядел как царь. Не потому, что Нана польстила ему или приукрасила черты лица. Нет — она просто увидела то, что было в нём всегда, но никто до неё не заметил: достоинство, спокойствие и непоколебимое, как скала. Рыбак долго смотрел на портрет. Потом вытер глаза тыльной стороной ладони и сказал только: «Значит, вот я какой». И в тот день ходил иначе — прямее, увереннее, как человек, который наконец узнал себе правду. Так жила Нана. В своей мастерской, в своем городе, в своей Колхиде — прекрасная, золотая, вечная. Она просыпалась на рассвете, когда небо над морем ещё только начинало розоветь, и сначала дело шло к окну — не потому, что так нужно было, а потому, что не могло быть иначе. Каждое утро море было новым. Каждое утро было другим цветом, другим характером, другим настроением — и каждое утро она думала одно и то же: вот это — сегодняшнее море, с этим светом и этим ветром — я ещё не нарисовала. И садилась рисовать. В то утро, о котором мы говорим, — в то самое утро, когда царь Эт смотрел в окно и тревожился о птицах — Нана стояла на берегу с дощечкой для рисования в руках и смотрела на горизонт. Что-то было не так с морем. Оно было слишком спокойным. Так бывает перед бурей — когда волны вдруг перестают торопиться, и вода становится темной и гладкой, как полированный металл, и в этой неподвижности думается не покой, а затаённое дыхание чего-то преданного. Нана опустила кисть. Прищурилась, глядя вдаль. Там, на самой линии горизонта, там, где небо касалось воды, было что-то. Едва заметное. Тёмная точка, которой вчера не было. Она долго смотрела на эту мысль. Потом медленно подняла кисть и начала рисовать. Не море. Не горизонт. Она рисовала то, чего ещё не было видно простым глазом — корабль. Большой, стремительный, с парусом цвета грозового облака. И на носу корабля — фигура человека. Мужчину, который стоял, широко расставив ноги, и смотрел вперед — туда, где была она. Рука ее двигалась сама, без участия разума, как это бывало с ней в странные минуты. Лицо мужчины выходило под кистью само собой — резкие скулы, прямой нос, глаза, которые даже на знаке казались веси, горящими каким-то внутренним огнем. Нанась остановилась. Посмотрела на то, что нарисовала. Потом — на горизонте. Тёмная точка стала чуть больше. Она сделала глубокую уверенность. Сердце ее билось странно — не быстро, но как-то иначе, чем обычно. Как будто оно тоже что-то думало. Как будто оно тоже знало. «Кто ты?» — спросила она тихо, обращаясь к нарисованному лицу. Нарисованный мужчина, правда, не ответил. Но море за ее спиной вдруг качнулось сильнее — пришла волна ниоткуда, в полном штиль, и с шипением обняла ее ноги по шиколотку, холодная и настойчивая, как предупреждение. Или как приветствие. Нана улыбнулась. Она не знала ещё, что это утро — последнее утро её прежней жизни. Что после этого утра всё изменилось. Тот человек с горящими глазами, которого она нарисовала раньше, чем увидела, уже плывёт к ней. Я зову его Ясон.по самой линии горизонта, там, где небо касалось воды, было что-то. Едва заметное. Тёмная точка, которой вчера не было. Она долго смотрела на эту мысль. Потом медленно подняла кисть и начала рисовать. Не море. Не горизонт. Она рисовала то, чего ещё не

было видно простым глазом — корабль. Большой, стремительный, с парусом цвета грозового облака. И на носу корабля — фигура человека. Мужчину, который стоял, широко расставив ноги, и смотрел вперед — туда, где была она. Рука ее двигалась сама, без участия разума, как это бывало с ней в странные минуты. Лицо мужчины выходило под кистью само собой — резкие скулы, прямой нос, глаза, которые даже на знаке казались веси, горящими каким-то внутренним огнем. Нанась остановилась. Посмотрела на то, что нарисовала. Потом — на горизонте. Тёмная точка стала чуть больше. Она сделала глубокую уверенность. Сердце ее билось странно — не быстро, но как-то иначе, чем обычно. Как будто оно тоже что-то думало. Как будто оно тоже знало. «Кто ты?» — спросила она тихо, обращаясь к нарисованному лицу. Нарисованный мужчина, правда, не ответил. Но море за ее спиной вдруг качнулось сильнее — пришла волна ниоткуда, в полном штиль, и с шипением обняла ее ноги по шиколотку, холодная и настойчивая, как предупреждение. Или как приветствие. Нана улыбнулась. Она не знала ещё, что это утро — последнее утро её прежней жизни. Что после этого утра всё изменилось. Тот человек с горящими глазами, которого она нарисовала раньше, чем увидела, уже плывёт к ней. Я зовут его Ясон.по самой линии горизонта, там, где небо касалось воды, было что-то. Едва заметное. Тёмная точка, которой вчера не было. Она долго смотрела на эту мысль. Потом медленно подняла кисть и начала рисовать. Не море. Не горизонт. Она рисовала то, чего ещё не было видно простым глазом — корабль. Большой, стремительный, с парусом цвета грозового облака. И на носу корабля — фигура человека. Мужчину, который стоял, широко расставив ноги, и смотрел вперед — туда, где была она. Рука ее двигалась сама, без участия разума, как это бывало с ней в странные минуты. Лицо мужчины выходило под кистью само собой — резкие скулы, прямой нос, глаза, которые даже на знаке казались веси, горящими каким-то внутренним огнем. Нанась остановилась. Посмотрела на то, что нарисовала. Потом — на горизонте. Тёмная точка стала чуть больше. Она сделала глубокую уверенность. Сердце ее билось странно — не быстро, но как-то иначе, чем обычно. Как будто оно тоже что-то думало. Как будто оно тоже знало. «Кто ты?» — спросила она тихо, обращаясь к нарисованному лицу. Нарисованный мужчина, правда, не ответил. Но море за ее спиной вдруг качнулось сильнее — пришла волна ниоткуда, в полном штиль, и с шипением обняла ее ноги по шиколотку, холодная и настойчивая, как предупреждение. Или как приветствие. Нана улыбнулась. Она не знала ещё, что это утро — последнее утро её прежней жизни. Что после этого утра всё изменилось. Тот человек с горящими глазами, которого она нарисовала раньше, чем увидела, уже плывёт к ней. Я зовут его Ясон.Я зовут его Ясон.Я зовут его Ясон.

ГЛАВА III — МЕДЕЯ

Медею боялись. Не так, как боятся злого человека — открыто, с руганью и проклятиями за спиной. Ее боялись иначе: тихо, осторожно, как боятся огня — признавая его красоту и знание при этом, что он может сжечь. При дворе короля Эта было принято говорить о царевне только хорошо — и не потому, что так вел этикет. А потому что люди чувствовали: она знает. Всегда знает. О чем говорят, что думают, что замышляют. Это знание было у нее с рождения — как цвет глаз, как форма рук. Ее мать, царица Идия, умерла родами, и многие шептались, что Медея забрала у нее жизнь еще в утробе — взяла то, что ей было нужно, и ушла в мир. Это была, конечно, жестокая и несправедливая легенда. Но легенды живут не потому, что они справедливы. Они живут потому, что в них есть что-то, что люди не умеют говорить иначе. Медее было двадцать два года. Она была высокой — почти с ростом отца — темноволосой, бледной с особой бледностью, что бывает у людей, которые много думают и мало спят. Глаза у нее были зеленые, с королевскими крапинками — такие глаза бывают у кошек и у ведьм, говорила старая служанка Сосо, крестясь при этом и сплёвывая через левое плечо. Медея на это только смеялась — негромко, чуть хриловато, как смеётся человек, которому давно уже не страшно ничьё мнение. Своей силой она не скрывала — но и не выдавала напоказ. Просто жила с ней, как живет с необычным цветом глаз или с родимым пятном на плече: это часть тебя,

и ты давно забыл об этом думать. Травы она знала все — от того, что останавливает кровь, до того, что останавливает сердце. Звёзды читали так же свободно, как другие читают рыночные таблички с ценами. Могла поговорить с огнём — не в смысле метафоры, а буквально: садилась перед очагом, смотрела в пламя подолгу, и я, кто случайно это увидел, уходил молча, и потом долго можно было не объяснить, что именно их так напугало. С Наной они дружили с детства. Это была странная дружба — как дружба между рекой и берегом: вроде бы разные стихи, вроде бы у каждой своя природа и своя судьба, но одна без другой немыслима. Нана была теплом, Медея — глубиной. Нана видела мир и хотела его нарисовать. Медея видела мир и хотела его понять. Сегодня утром, когда Нана стояла на берегу и рисовала незнакомый корабль, Медея нашла ее там — как находила всегда, безо всякого труда, вроде между ними была натянута невидимая нить. Она подошла бесшумно — в сандалиях на босу ногу, в темном хитоне без украшений — и долго смотрела через плечо подруги на рисунок, прежде чем заговорить. — Ты его уже видела? — спросила она наконец. Голос у нее был низким, спокойным — такой голос бывает у людей, которым повезло, что их слушают. Нана не обернулась. Она знала этот голос так же хорошо, как голос собственного отца. — Нет, — ответила она. — Я его нарисовала. Медея помолчала. Потом обошла подругу и встала перед ней — лицом к лицу, спиной к морю — и взяла дощечку с рисунком. Долго смотрела на нарисованное лицо. Что-то в ее лице изменилось — едва заметно, как меняется поверхность воды, когда под ней проходит большая рыба. — Кто это? — спросила Нана. — Ты знаешь? Медея не сразу. Она опустила дощечку и посмотрела на горизонт — туда, где темная точка уже стала чуть больше, чуть отчётливее. — Я видела его во сне, — сказала она тихо. — Три ночи подряд. — И что он делал в твоём сне? — Плыл сюда, — вернулась Медея дощечку подруге. — Плыл сюда, и я знал во сне, что когда он приплывёт — ничего не будет прежним. Ни для меня. Ни для тебя. Ни для Колхиды. Нана посмотрела рисунок. Потом — на подругу. — Ты боишься? Медея чуть улыбнулась — той улыбкой, которую Нана знала и немного боялась: не злой, не холодной, а просто очень взрослой. Улыбчивый человек, который давно уже договорился с судьбой и знает, что торговаться бесполезно. — Я никогда не боюсь того, что уже произошло, — ответила она. — А это уже произошло. Просто мы ещё не знаем об этом. Они помолчали вдвоём. Больше качалось у них в ногах — терпеливо и равнодушно, как оно качалось уже тысячи лет, не считаясь ни с какими страхами и надеждами. Тёмная точка на горизонте медленно, но неуклонно становилась больше. — Как его зовут? — спросила Нана. — В твоём сне ты знал его имя? Медея изменила. Она снова смотрела на горизонт — и в зелёных глазах её плескалось что-то такое, что Нана не умела назвать. Не страх. Не радость. Что-то третье, у чего не было имени ни на каком языке. — Ясон, — сказала Медея. — Его зовут Ясон. Имя упало между ними, как камень в воду. Нана почувствовала, как по спине у нее прошла волна — горячая и холодная одновременно. Она опустила глаза на рисунок. Нарисованное лицо с горящими глазами. — Ясон, — повторила она тихо, — просто чтобы услышать, как это звучит. Как произнести имя что-то значило само по себе. Как вернуть его вслух — уже было указано, уже был выбор, уже было начало чего-то, что потом уже нельзя будет остановить. Солнце поднялось выше. День начался. Где-то в городе закричал петух, залаяла собака, послышались голоса торговцев на рынке — привычный шум проливающегося города, такой же, как вчера, и позавчера, и год назад. Но что-то уже было не так. Что-то уже изменилось — незаметно, необратимо, как меняется человек в мою минуту, когда принимает решение, о котором ещё не знает, что уже принял его. — Я никогда не боюсь того, что уже произошло, — ответила она. — А это уже произошло. Просто мы ещё не знаем об этом. Они помолчали вдвоём. Больше качалось у них в ногах — терпеливо и равнодушно, как оно качалось уже тысячи лет, не считаясь ни с какими страхами и надеждами. Тёмная точка на горизонте медленно, но неуклонно становилась больше. — Как его зовут? — спросила Нана. — В твоём сне ты знал его имя? Медея изменила. Она снова смотрела на горизонт — и в зелёных глазах её плескалось что-то такое, что Нана не умела

назвать. Не страх. Не радость. Что-то третье, у чего не было имени ни на каком языке. — Ясон, — сказала Медея. — Его зовут Ясон. Имя упало между ними, как камень в воду. Нана почувствовала, как по спине у нее прошла волна — горячая и холодная одновременно. Она опустила глаза на рисунок. Нарисованное лицо с горящими глазами. — Ясон, — повторила она тихо, — просто чтобы услышать, как это звучит. Как произнести имя что-то значило само по себе. Как вернуть его вслух — уже было указано, уже был выбор, уже было начало чего-то, что потом уже нельзя будет остановить. Солнце поднялось выше. День начался. Где-то в городе закричал петух, залаяла собака, послышались голоса торговцев на рынке — привычный шум проливающегося города, такой же, как вчера, и позавчера, и год назад. Но что-то уже было не так. Что-то уже изменилось — незаметно, необратимо, как меняется человек в мою минуту, когда принимает решение, о котором ещё не знает, что уже принял его. — Я никогда не боюсь того, что уже произошло, — ответила она. — А это уже произошло. Просто мы ещё не знаем об этом. Они помолчали вдвоём. Больше качалось у них в ногах — терпеливо и равнодушно, как оно качалось уже тысячи лет, не считаясь ни с какими страхами и надеждами. Тёмная точка на горизонте медленно, но неуклонно становилась больше. — Как его зовут? — спросила Нана. — В твоём сне ты знал его имя? Медея изменилась. Она снова смотрела на горизонт — и в зелёных глазах её плескалось что-то такое, что Нана не умела назвать. Не страх. Не радость. Что-то третье, у чего не было имени ни на каком языке. — Ясон, — сказала Медея. — Его зовут Ясон. Имя упало между ними, как камень в воду. Нана почувствовала, как по спине у нее прошла волна — горячая и холодная одновременно. Она опустила глаза на рисунок. Нарисованное лицо с горящими глазами. — Ясон, — повторила она тихо, — просто чтобы услышать, как это звучит. Как произнести имя что-то значило само по себе. Как вернуть его вслух — уже было указано, уже был выбор, уже было начало чего-то, что потом уже нельзя будет остановить. Солнце поднялось выше. День начался. Где-то в городе закричал петух, залаяла собака, послышались голоса торговцев на рынке — привычный шум проливающегося города, такой же, как вчера, и позавчера, и год назад. Но что-то уже было не так. Что-то уже изменилось — незаметно, необратимо, как меняется человек в мою минуту, когда принимает решение, о котором ещё не знает, что уже принял его.

ГЛАВА IV — ПРОРОЧЕСТВО

Храм Гекаты стоял на окраине города — там, где заканчивались последние дома, и начинался густой лес, тёмный даже в полдень, пахнувший сыростью и чем-то ещё, почему не было названия, но что каждый человек чувствовал то же самое: здесь границы. Здесь заканчивается мир людей и начинается что-то другое. Храм был другом — старше самого города, старше, говорил, даже царского рода Эта. Камни его стен потемнели от времени и от дыма бесчисленных жертвенных костров, и в этом замечании было достоинство — достоинство всего, что пережило многое и стоит себе дальше, никуда не торопясь и ничего не доказывая. Верховным жрецом храма был Фариос. Ему было столько лет, что никто уже не помнил — и не решился спросить. Маленький, сухой, с руками, как древесные корни, и глазами неожиданно молодыми — ярко-карими, ясными, смотрящими на собеседника, так, казалось, видел его насквозь и чуть дальше, чем насквозь. Говорил он мало. Но когда говорили — люди запомнили. Нана пришла к нему на следующее утро после разговора с Медеей на берегу. Пришла одна, не показав никому, куда идет, — просто встала на рассвете, оделась и пошла, повинувшись тому самому необъяснимому чувству, что вело ее руку, когда она рисовала чужой корабль. Фариос сидел во внутреннем дворе храма — перед маленьким огнем, разведённым прямо на земле. Он не обернулся, когда она вошла. Но сказал:

— Я ждал тебя, Нана из рода Картлосиани.

Нанась остановилась. Сердце ее дёрнулось — не от страха, а от того узнавания, которое бывает, когда понимает: всё идёт так, как должно идти.

— Ты знал, что я приду?

— Я знал, что ты придёшь, когда увидишь корабль, — он, по сути, положил руку на место напротив себя, у огня. — Садись.

Она села. Огонь между ними был небольшим, но жарким — сухие ветки трещали в нем бодро и весело, совсем не связываясь с тишиной и мировоззрением места.

— Ты видел его? — спросила Нана. — Корабль на горизонте?

— Я его вижу уже давно, — ответил Фариос. — Не глазами. Вот здесь, — он положил сухую ладонь на грудь. — Он шёл сюда долго. Очень долго. И теперь почти пришёл.

Нана молчала, ожидая. Она умела ждать — это тоже было частью ее природы художника: умение не торопиться, не дёргать, давать всему прийти в своё время.

— Их много на корабле, — продолжает Фариос, глядя в огонь. — Пятьдесят и ещё два. Все разные — воины и певцы, мудрецы и безумцы, герои и я, кто только мечтает стать героем. Они пришли за руном.

— За Золотым руном, — тихо сказала Нана.

— За ним. Царь будет в гневе. Царь скажет нет. Но они не уйдут ни с чем — потому что среди них есть тот, кому решено взять руно. Таков приговор богов, и против него нет ни щита, ни меча.

Огонь качался, хотя ветра не было.

— Кто он? — спросила Нана, хотя уже знала ответ.

— Ты нарисовала его вчера на берегу, — просто сказал Фариос. — Ты видела его лицо раньше, чем видела его самое. Это не случайность, Нана. Когда художник рисует раньше человека, чем встретит его — это значит, что их души уже знакомы. Они встретились раньше. Быть может, в другой жизни. Может быть, в том пространстве, где нет ни времени, ни расстояния, и где всё, что должно произойти, уже произошло — мы об этом ещё не знаем.

Нана смотрела в огонь. Маленькие языки пламени плясали перед ней, и в их движении у нее чудилось что-то — образы, лица, силуэты, которые она не стандартала разглядеть раньше, чем они менялись.

— Что будет с ним? — спросила она наконец. — С этим человеком. С Ясоном.

Фариос помолчал. Долго — так долго, что Нана уже беспокоилась, что он не ответил.

— Он возьмёт руно, — сказал наконец старец, и голос его стал тише, как будто он говорил не ей, а самому себе. — Он возьмёт то, за чем приплыл. Но цена будет высокой. Очень высокий. Потому что за каждым верховным руном стоит не просто подвиг. За ним стоит чья-то жизнь, чья-то любовь, чья-то душа. Боги ничего не дают даром — они только меняют одно на другое.

— Что он даст от взамен?

Фариос посмотрел на нее. Впервые за весь разговор — прямо, в глаза. И в его молодых карих глазах было что-то такое, от чего у Наны сжалось сердце.

— Не он, — тихо сказал старик. — Она.

Нана не сразу поняла. А когда поняла — не сомневалась. Она просто изменилась. Медленно, как кивает человек, который слышал то, что уже давно знал, но не решился признать вслух.

— Медея, — произнесла она.

— Медея, — подтвердил Фариос. — Она любит его так, как умеют любить только меня, кто рождён с огнем внутри. Без остатка. Без оглядки. Отдаст ему всё — свои знания, свое искусство, свою родину, своего отца, свое имя. А он...

Он снова замолчал.

— Что он? — тихо спросила Нана.

— Он возьмёт всё. И уплывёт.

Пламя между ними вдруг вспыхнуло ярче — на секунду, на одно короткое мгновение — и в этом вспыхе Нана увидела: корабль под серым парусом, удаляющийся в море, и одинокую фигуру на берегу, которая смотрит ему следом и не плачет — просто смотрит, как смотрит на то, что уже невозможно изменить.

Она моргнула. Видение исчезло. Снова был тихий дворик, маленький огонь и старый жрец, который смотрел на нее с тем выражением, в котором было одновременно сочувствие и что-то произошло на извинении.

— А я? — спросила Нана. — Ты ничего обо мне не сказал.

Фариос долго молчал.

— О тебе, — сказал он наконец, — боги сказали мне вот что: есть любовь, которая кричит — и ее слышат все. И есть любовь, которая молчит — и ее никто не слышит. Но только та любовь, что молчит, остается навсегда. Потому что она никуда не ушла. Ее некуда потерять.

Нана встала. Поправила хитон. Посмотрела на огонь последний раз.

— Спасибо тебе, Фариос.

— Не благодари, — сказал старик, снова глядя в пламя. — Я только сказал тебе то, что ты уже знал. Ты ведь знал, правда?

Нана не ответила. Но когда она выходила из храма в утренний свет — в золотой, медовый, колхидский свет, который умеет быть таким нежным только здесь и нигде больше — на лице ее была та самая улыбка. Та, которую она рисовала на портретах людей, когда видела в них что-то, чего они сами в себе не видели. Улыбка знаний. Улыбка принимает. Улыбка человека, который посмотрел своей судьбе в лицо — и не отвёл взгляда.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ — АРГО НА ГОРИЗОНТЕ

ГЛАВА V — ЯСОН

Есть люди, которые рождаются для спокойной жизни — для тихого дома, для мирного труда, для ровного счастья без взлётов и падений. И есть другие — те, вроде специализированных учреждений для бури. Не потому, что они ищут беду. А потому, что в них есть особая порода духа, которая не умеет жить вполсилы. Которой мало берега — нужно море. Мало соображений — нужны горы. Мало сегодняшнего дня — нужна вечность.

Ясон был из вторых.

Он родился в Иолке — маленьком городке на берегу Пагасейского залива, в семье короля Эсона, чей маленький брат Пелий — участников трона ещё до рождения Ясона — тихо, без крови, с той холодной расчётливостью, что страшнее любого открытого зла действующего. Мать успела спрятать ребенка — от родила в горе, к кентавру Хирону, мудрейшему из всех, кто когда-либо брался учить людей. Хирон взял мальчика без лишних слов. Он умело распознавать судьбу по глазам — а в глазах этого ребенка была написана судьба крупными буквами, как надпись на городских воротах.

Ясон рос в горах. Не в мраморных императорах и не в тенистых садах — в лесу, на ветру, под открытым небом, которые в горах кажутся ближе, чем где-либо на земле, и звёзды, которые ночью так ярко, что кажется — протяни руку и достанешь. Хирон учил его всему: владению мечом и луком, врачеванию ран и трав, чтению звезд и течений рек, музыке и красноречию, философии и молчанию — потому что молчанием тоже нужно владеть, это особое искусство, которым владеют немногие. Но главное, что умелый Хирон, — он научить не мог. Потому что главное нельзя научить. Это либо есть в человеке, либо нет. Это умение смотреть людям в глаза и видеть там не то, что они показывают, а то, что прячут. Это умение входить в любую комнату

так, чтобы люди оборачивались — не потому, что он был громким или ярким, а потому, что в нем было что-то, от чего воздух вокруг менялся. Стал плотнее. Живи.

Хирон называл это просто: присутствие.

— Большинство людей, — говорил он Ясону однажды вечером, когда они сидели у костра и смотрели на то, как Внизу, в долине, мерцают огни города, — живут так, вроде их здесь нет. Ходят, говорят, думают, спят — а присутствия нет. Они как тени. А ты — ты здесь. Полностью. Каждый раз, каждую минуту. Это дар. Но это и бремя. Потому что тот, кто присутствует полностью, — думает всё полностью. И боль тоже.

— Лучше так, — ответил тогда Ясон, не думая. — Лучше чувствовать всё, чем не чувствовать ничего.

Хирон смотрел на него долго — темой, которую Ясон научился узнавать за годы: взглядом взглядом, в котором была гордость, и тревога, и любовь, и что-то ещё — что-то показалось на прощание, хотя прощаться было ещё рано.

— Помни это, — тихо сказал старый кентавр. — Когда будет тяжело — помни, что ты сам выбрал это. Никто тебя не заставлял.

Ясону было двадцать лет, когда он спустился с гор в Иолк — принес в Пелия то, что по праву его отцу. Он пришёл один, без оружия, в простом хитоне, с одной сандалией на ноге — второй потерял, переходя в брод горную реку, помогая старухе, которая оказалась самой Герой в человеческом обличье. Богиня запомнила этот жест. Боги всегда запоминают бескорыстную помощь — она случается куда реже, чем принято думать.

Пелий увидел племянника и побледнел. Не потому, что сомневался в юношестве с одной сандалией. А потому что давно уже знал пророчество: остерегайся того, кто придёт к тебе в одной сандалие. Он придёт за твоим тронном, и ты не обучаешься ему отказать.

Хитрый Пелий не стал открыто отказывать. Он улыбнулся — широко, радушно, как улыбается человек, у которого уже есть план.

— Племянник, — сказал он, вспоминая Ясона с той теплотой, которая бывает только у тех, кто умеет красиво лгать, — я рад тебе. Ты вырос. Ты стал мужчиной. Я вижу в тебе героя, достойного царства. Но прежде чем говорить о троне, скажи мне: достоин ли царства того, кто не достиг ещё ни одного великого подвига?

Ясон посмотрел на дядю спокойно. Он видел его насквозь — Хирон хорошо научил его читать людей. Но он также знал: иногда нужно принять игру, чтобы в традиционном счетчике выиграть партию.

— Что ты предлагаешь? — спросил он.

— Есть на краю света земля, — сказал Пелий, понижая голос, как будто делился тайной, — земля под названием Колхида. Там, в роще бога Аресы, посетил священный дубе Золотое руно — шкура того самого барана, который некогда унес на своих остальных детей нашего рода. Это руно принадлежит нам по праву крови. Привези его — и трон твой. Слово царь.

В зале стало тихо. Советники, стражники, придворные — все смотрели на молодого человека с одной сандалией. Смотрели и думали одно: откажется. Колхида — это край света. Там чужой народ, чужие боги, чужое море. Оттуда не возвращаются.

Ясон помолчал ровно столько, сколько нужно — не из-за нерешительности, а из-за важности момента. Потом поднял голову и посмотрел дяде в глаза.

— Хорошо, — сказал он просто. — Я привезу руно.

И улыбнулся — открыто, почти радостно, как улыбается человек, только что сказал, что впереди интересная дорога.

Пелий ожидал страха. Или колебания. Или хотя бы той паузы, в которой можно доверять. Он не ожидал этой улыбки. И впервые за долгие годы показалось, что что-то похоже на несправедливость.

Корабль построил всю зиму. Афина сама, говорила, приходила по ночам на верфь и правила доски — потому что корабль для такого плавания должен быть не просто крепким, он должен быть живым. Назвали его Арго — в честь корабельщика Арга, что его построили. Но люди говорили, что это имя означает и другое: быстро. И это тоже было правдой.

Когда новость о походе разнеслась по Элладе, герои начали приходиться сами. Ясон не рассылал гонцов и не уговаривал. Просто однажды утром пришёл к верфи и увидел: у причала стоят люди — разные, незнакомые, с разными концами света, с оружием и без, молодые и в возрасте, тихие и шумные. И каждый смотрел на него тем взглядом, который Ясон уже умел читать: я пришёл. Бери меня с собой и он брал.

Среди первых пришёл Геракл — огромный, спокойный, с дубиной на плече и с теми глазами, в которых человек, не знавший его, ожидал ярость, а видел вместо этого ушедшего и доброту. За ним — Орфей, тонкий, почти хрупкий, с лирой через плечо, с руками музыканта и взглядом человека, который слышит то, чего другие не слышат. Пришли Кастор и Полидевк — близнецы, похожие на отражение в воде, и при этом совершенно разные: один молчаливый, другой разговорчивый, один думает прежде, чем сделать, другой делает прежде, чем думает. Пришли Пелей, Теламон, Мелеагр, Зет и Калаид — сыновья Борея, умеющие летать — и еще многие другие, имена которых сохранились в истории, и те, чьи имена она забыла, хотя они тоже были там и тоже гребли, и были тоже боялись, и тоже храбрились.

Пятьдесят два человека. Пятьдесят два сердца. один корабль. Одна цель.

В день отплытия неба над Пагасейским заливом было серым и низким, как бывает ранней весной, когда зима ещё не совсем ушла, но уже устала бороться. Ясон стоял на носу Арго и смотрел вперед — туда, где заливался в море, и море осторожно за горизонт, и за горизонтом было то, чего он еще не видел, но к чему пришел с тех пор, как себя помнил.

Орфей тронул струны лиры.

Звук плыл над водой — чистый, высокий, немного печальный, как всегда бывает в больших начальных минутах, потому что большое начало — это всегда одновременно, а конец чего-то. Конец прежней жизни. Конец того человека, которым ты был до этого момента.

Гребцы налегли на вёсла. Арго двинулся.

Ясон не смотрит на берег. Он знал: если оглянешься в такую минуту — уже не уплывёшь. Что-то в тебе останется там, на берегу, и будет тянуть всю назад дорогу. Нет. Вперёд. Только вперед.

Но где-то в консультации — там не заглядывает даже самый храбрый куда человек, потому что там живут не мысли, а что-то более древнее и более честное, — он чувствовал: впереди не только слава и руно. Впереди что-то ещё. Что-то, почему он не знал названия. Что-то, от чего не спасёт ни меч, ни храбрость, ни мудрость Хирона.

Арго набирал скорость. Берег тайал за кормой. Орфей играл.

И море воспринимало их — равнодушно и внимательно, как относится ко всем, кто решается на его выход: без обещаний, без гарантий, без жалости. Только ветер, только волны, только горизонт — бесконечный, манящий, живой.

ГЛАВА VI — ГЕРАКЛ И ОРФЕЙ

Такое явление существует в природе, и моряки хорошо знают, а сухопутные люди — редко: когда два разных явления встречаются в море, они не перемещаются сразу. Они идут рядом — каждый свой цвет, свою температуру, свою скорость — долго, иногда многие мили, прежде чем наконец сливаются в одно. Со стороны это выглядит странно и красиво: две воды, два характера, мир — два рядом, но каждый сам по себе. И всё же — вместе.

Геракл и Орфей были именно такими потоками.

Геракл был сильным. Не грубо, не бездумно — нет, это было бы слишком простым объяснением для слишком сложного человека. Его сила была как сила горы: тихая, спокойная, абсолютная. Он не демонстрировал ее — она просто была, как бывает гравитация, как бывает рассвет. Он не спрашивал разрешения, не испытывая восхищения. Просто была — и всё вокруг это чувствовало. Когда Геракл входил в помещение, люди невольно выпрямлялись. Когда он взял в руки весло, соседние гребцы непроизвольно начали грести сильнее — не потому, что стыдились, а потому, что его присутствие поднимало в них что-то, о существовании чего они сами не знали. Какой-то глубинный, дремлющий огонь, который большую часть жизни сплевывает, и только рядом с такими людьми — просыпается.

Но в глазах у него был остаток.

Не фигура — тело Геракла не знало усталости в том смысле, в котором ее люди знают обычно. Это была другая усталость — та, что накапливается не в мышцах, а в душе, когда человек слишком долго несёт слишком тяжёлое. Он уже достиг к этому времени немалого количества своих знаменитых подвигов — убил немейского льва, одолел лернейскую гидру, поймал керинейскую лань. Каждый подвиг добавлял ему славы. И каждый подвиг добавлял ему одиночества. Потому что чем больше человек боится — тем меньше его понимают. А чем меньше его понимания — тем труднее ему найти то, с кем можно просто помолчать. Без подвигов. Без ожиданий. Просто помолчать рядом, как молчат двое, которым хорошо вместе.

Орфей умел молчать именно так.

Орфей был другим — всем, чем Геракл не был, и при этом ничуть не меньше. Тонкий, темноволосый, с руками, которые казались созданными исключительно для того, чтобы держать лиру — длинными пальцами, чуткими, как антенны, улавливающими что-то в воздухе, чего другие не слышат. Он был сыном Музыки Каллиопы, и это было не просто красивой легендой — это чувствовалось физически. Когда Орфей начинал играть, что-то менялось в воздухе вокруг него. Не метафорически — буквально. Птицы замолкали и слушали. Результаты, клялись очевидцы, наклонились в его сторону. Реки медлили некоторое время. Однажды на пути к Иолку он играл на берегу ручья, и ручей остановился — просто остановился и стоял, пока Орфей не закончил.

Но и у него в глазах было что-то — не осталось, как у Геракла, боль. Тихая, хроническая, привычная — как рана, которая затянулась снаружи, но внутри так и не зажила. Была у него любовь — Эвридика, прекрасная, душа — и смерть забрала ее рано, слишком рано, и Орфей опустился за ней в подземный мир, и почти вернулся ее, и не смог. Подробности этой истории знали все. Сам он о ней никогда не говорил. Но иногда, когда он, что никто не смотрит, его пальцы касались струн лиры — не играя, просто касаясь, как думали, касаются рукой чего-то дорогого, что уже невозможно вернуть, но невозможно и забыть.

Геракл и Орфей подружились в первый же день на борту Арго.

Это произошло просто и без лишних слов — как всегда происходит настоящая дружба, без торжественных торжеств и клятв. В первое утро после отплытия, когда остальные аргонавты ещё спали, а море лежало серым и тихим под бледным рассветным небом, Геракл сидел на корме и смотрел на воду. Орфей подошёл, сел рядом и положил лиру на колени. Некоторое время они молчали — просто двое людей, смотрящих на море на рассвете.

Потом Орфей тихо тронул струну — одну, простую ноту, которая плыла над водой и растворялась в воздухе.

— Красиво, — сказал Геракл, — не оборачиваясь, не моя позы.

— Да, — согласился Орфей.

И снова помолчали. И этого молчания было достаточно. Иногда дружба — это именно это: умение молчать рядом с человеком так, чтобы молчание было не пустым, а полным.

С того утра они держались вместе.

Путь был долгим. Арго шёл на восток — через острова и проливы, мимо берегов знакомых и чужих, через спокойные воды и через воды, в которых спокойствия не было никогда. Аргонавты гребли, спорили, пели, ссорились и мирились, как всегда бывает с людьми, чья судьба заперла вместе на небольшом пространстве на долгое время. Ясон держал их вместе — не приказами, не страхом, а темой каждому присутствию, о которой говорил Хирон. Просто был рядом. Просто был собой — и этого почему-то хватило.

Была буря у берегов Фракии — злая, ночная, из тех, что приходят безотносительно и бьют со всей силой сразу, не давая времени подготовиться. Волны встали стеной, ветер вал парус, Арго скрипел и стонал, как живое Существо. Гребцы теряли вёсла, кто-то кричал, кто-то молился — каждый своим богам, на своём языке, и боги в ту ночь, наверное, слышали странный хор.

Геракл лёгкой стороной на весла с той, где риск был больше — там, где волна ударяла прямо в борт, и каждый удар мог переломить весло и выбросить гребца за борт. Он грёб молча, ровно, без надрыва — как будто это был не шторм, а просто ещё один обычный день работы. И глядя на него, другие успокоились. Не потому что переставили бояться — бояться они не переставили. А потому, что рядом с человеком, который не боится, страха становится меньше. Не исчезнуть — извлечь. И это тоже иногда достаточно.

Орфей в ту ночь сделал другое.

Он сел прямо на мокрой палубе, начал объяснять весь этот хаос — вода хлестала его, ветер трепал волосы — и играть. Не какой-то героической, не боевой гимн. Что-то простое. Тихое. Колыбельную, почти — такую мелодию, которую мать поют детям, когда за окном гроза и рост боится. Музыка была едва слышна за рёвом бури. Но ее слышали. Каждый на борту ее слышал — не ушами, а чем-то глубже. И руки переставляли дрожать. И дыхание дышалось. И страх не исчез, но стал терпимым — таким, с которым можно работать, грести, держаться.

Ясон, стоявший у руля, посмотрел на Орфею — и в глазах его было то выражение, что бывает у человека, который вдруг понял что-то важное.

— Ты знаешь, что делаешь? — крикнул он сквозь ветер.

Орфей поднял глаза. На лице его не было страха — было комплексие, что происходит с мастером в момент работы.

— Музыка — это не украшение, — крикнул он в ответ. — Это якорь. Когда всё вокруг летит — музыка держится.

Буря стихла к рассвету. Арго объявили из нее целым — потрёпанным, но целым. Аргонавты лежали на палубе кто где, мокрые и измотанные, с тем резким выражением людей, переживших что-то серьёзное и ещё не до конца понявших, что выжили.

Геракл сидел на борту и смотрел на рассветное море. Орфей подсел к нему — так же, как в то первое утро. Положите лиру на колени.

— Живы, — сказал Геракл.

— Живы, — согласился Орфей.

Помолчали.

— Ты боялся? — спросил Геракл — не с нами мешкой, а с настоящим любопытством, как спросил один у другого о том, что сам испытал, но не понял.

Орфей подумал.

— Боялся, — ответил он честно. — Но пока играл — не чувствовал страха. Странно устроен человек: когда делаешь то, для чего создан, — бояться некогда.

Геракл долго смотрел на него. Потом обращение — медленно, как кивает человек, выдавший что-то, что хочет исправить.

— Это правда, — сказал он тихо. — Когда дерёшься — тоже некогда бояться. Страх приходит потом. Когда уже всё кончилось.

— И что ты делаешь с ним потом? — спросил Орфей.

Геракл помолчал. За бортом плескалось успокоенное море, розовое от рассвета — умытое, тихое, как будто и не было никаких бури.

— Несу, — сказал он наконец. — Просто несу.

Орфей посмотрел на него — и в глазах его было понимание. То редкое, настоящее понимание, которое не объяснено, нужно и не нужно подтверждать. Которое просто есть — между двумя людьми, каждый из которых несёт своё, и оба об этом знают, и именно это знание делает их ближе, чем любые слова.

Арго шёл на восток.

Впереди были еще испытания — Симплегады, скалы-скитальцы, которые изменились в сторону кораблей и дробили их в щепки, были чужие земли и непройденные воды, были встречи и потери, радости и горе. Но об этом — потом. Сейчас было только утро, только тихое море, только два человека на палубе — большие и тихие, сильные и худые, гора и река — сидящие рядом в молчании, которые были полнее любого разговора.

Где-то на горизонте, там, куда они плыли, вставало солнце над Колхидой.

Золотое. Тяжёлое. Живое.

ГЛАВА VII — ПЕРВЫЙ БЕРЕГ КОЛХИДЫ

Это произошло так, как всегда важные вещи в жизни — неожиданно и в то же время, как будто именно этого ты и ждал всё время, просто не знал об этом. Ясон стоял на носу Арго — он почти всегда стоял там на рассвете, это стало его привычкой за долгие недели плавания — и смотрел вперед, в ту серо-розовую дымку, где небо встречалось с водой. И вдруг дымка расступилась. Не вся — только полоса ее, там, где горизонт был чуть темнее. И в этой полосе проступили горы.

Сначала — только силуэты. Тёмные, неровные, как зубья длинные пилы, прочерченные на светлом небе. — Потом детали: снег на вершинах, розовеющий от первых лучей, лесистые склоны, уходящие вниз к воде, и берег — длинный, песчаный, с тёмной полосой прибоя.

— Колхида, — тихо сказал Ясон. Не для других — для себя. Просто произнес это слово вслух, как произнёс имя человека, о котором долго думал и наконец увидел.

Слово пролетело на палубе — тихо, но каждый его услышал. Спящие просыпались. Гребцы подняли голову. Люди вставали, подходили к монитору, молчали, с тем выражением, которое бывает у человека, достигли своих целей после долгого пути: не совсем радость, не совсем облегчение, что-то третье, более сложное. Смесь восторга и страха, усталости и предвкушения, гордости и смирения перед темной партой, что ещё только начинается.

Геракл встал рядом с Ясоном. Долго смотрел на берег. Потом сказал:

— Филы.

— Да, — признался Ясон.

— Красивые места бывают опасными, — добавил Геракл, — не как предупреждение, просто как наблюдение человека, повидавшего мир.

— Все стоящие места опасны, — ответил Ясон. — Безопасны только те, куда не стоит идти.

Геракл посмотрел на него сбоку — и в глазах его мелькнуло то, что у него заменяло улыбку: едва заметное потепление взгляда, почти незаметное для чужих, но хорошо различимое для тех, кто знал его близко.

— Хирон хорошо тебя научил, — сказал он.

Орфей стоял чуть подальше — он не подошел к столу вместе со всеми, наблюдатель с того места, где сидела, и пальцы его тихонько перебирали струны лиры, не улавливая звука — просто касались, думали. Потом он поднял глаза на берег — и замер. Не так, как замирают от красоты. Иначе. Как замирает человек, который что-то слышал, чего другие не слышат.

— Там кто-то есть, — сказал он негромко. — На берегу. Один человек.

Ясон посмотрел туда, куда смотрел Орфей. Берег казался пустым — только песок, только прибой, только редкие деревья на краю пляжа. Но Орфей умело шел впереди, чем другие видели. Ясон доверял этому умению.

— Где? — спросил он.

— Вон там, — сформулировал Орфей. — У воды. Видишь — тёмное пятно в линии прибоя?

Ясон прищурился. И увидел. Действительно — у самой воды, там, где волна набегала на песок и отступала, стояла фигура. Маленькая отсюда, почти неразличимая. Но стояла — неподвижно, лицо к морю, как будто ждала.

Арго входил в залив медленно — Ясон велел убрать парус и идти на веслах, чтобы не пугать береговых мест внезапным появлением. Берег представился. Фигура у воды стала отчётливее.

Это была женщина.

— стало ясно по тому, как она стояла: прямо, легко, с той ненуждённостью молодостью в осанке, которая бывает только у молодых и только у тех, кто много времени проводит на открытом воздухе. В руках она держала что-то — дощечку, что ли, и что-то тонкое, показалось на кисть. Она рисовала. Рисовала море — а может быть, их корабль, уже различимый с этим берегом, — и она была настолько заинтересована в занятиях, что не двигалась, пока Арго не вошёл в залив настолько близко, что стал слышен плеск вёсел.

Затем она подняла голову.

Ясон увидел ее лицо в тот момент, когда Арго был уже недалеко от берега — достаточно близко, чтобы различать черты лица, но еще достаточно далеко, чтобы между ними оставалось пространство. В самом пространстве, в котором человек ещё не сказал ни слова, ещё не сделал ни шага по достижению соглашения, но уже что-то произошло. Уже что-то переменилось — незаметно, необратимо, как меняется свет, когда из-за горы выходит.

Он смотрел на нее. Она смотрела на него.

На борту Арго стало тихо — не потому, что кто-то велел молчать, а сам собой, как бывает, когда люди чувствуют: происходит что-то, во что не нужно вмешиваться. Даже Геракл ничего не сказал. Даже Орфей перестал касаться струны.

Нана стояла у воды и смотрела на корабль — большой, старинный, пахнувший смолой и дальними морями — и на человека, стоящего на его носу. Высокий, широкоплечий, с густыми волосами, распанными морским ветром — он смотрел на нее так, как она привыкла смотреть на то, что собиралась рисовать: внимательно, полностью, не упуская ничего. Как будто хотел заменить. Как будто боялся, что она исчезнет, если он моргнёт.

Она опустила глаза на дощечку в свои руки.

На ней было лицо. То самое лицо, которое она нарисовала два дня назад — здесь, на этом месте, когда корабль был ещё только точкой на горизонте. Резкие скулы. Прямой нос. Глаза, которые горят.

Она подняла взгляд на корабль. На человеке, который носит.

Это было то же самое лицо.

Сердце ее не забилося быстрее — оно сделало что-то другое, почему она не знала названия. Как будто что-то внутри, что было долго напряжено, вдруг отпустило. Как будто она несла что-то тяжёлое — долго, не замечая веса, потому что привыкла — и вдруг это тяжёлое исчезло. И стало странно легко. И немного страшно от этой легкости.

Арго коснулся дном песка. Якорь ушёл в воду с тяжёлым всплеском. Аргонавты начали опускаться на берег — осторожно, с оружием наготове, оглядываясь, как оглядываются люди в незнакомом месте. Ясон прыгнул первым — прямо в воду, по колено, и пошёл на берег, не обращая внимания на холод. Остановился в нескольких шагах от нее.

Молчание между ними было плотным, как ткань.

— Ты рисовала наш корабль? — спросил он наконец. По-гречески — на другом языке он не знал. Голос у него был такой, Каким он и должен был быть по рисунку: низкий, спокойный, с той уверенностью, что не давит, а держится.

Нана посмотрела на него. Потом — на дощечку. Потом снова на него.

Она не знала греческого. Но вопрос был понятен без перевода, — он смотрел на дощечку, и смысл был ясен.

Она молча развернула дощечку к нему.

Ясон посмотрел на рисунок. Долго. Потом поднял на нее глаза — и в глазах его было выражение, которого Нана не видела ни у кого раньше. Не удивление — что-то повисить. Что-то произошло с чувством, которое бывает, когда в незнакомом городе вдруг видишь дом и понимаешь: я здесь уже был. Не в этой жизни — в какой-то другой. Но был. Точно был.

— Это я, — сказал он тихо, — не она себе.

Нана не поняла слов. Но не поняла интонацию.

— Да, — сказала она по-своему, — по-колхидски, мягко, с тем певучим ударом, что отличало ее язык от всех остальных. — Это ты.

Они не различали слова друг друга. Но были одинаковы друг друга — и это было важнее слов. Это всегда важные слова.

Сзади кашлянул кто-то из аргонатов. Ясон не обернулся.

— Как тебя зовут? — спросил он — медленно, как спрашивает, когда надеются, что интонация донесёт смысл лучших слов.

Нана поняла. Прижала руку к груди.

— Нана, — сказала она.

— Нана, — повторил он. Имя прозвучало в его устах иначе, чем она привыкла к нему ушами — с чуть другим, чуть другим звуком — но узнаваемо. Свое имя из чужих уст всегда узнаешь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.